

Рождение Венеры

Флоренция XV века. Смерть Лоренцо Медичи оглушает Флоренцию, и число последователей пылкого проповедника Савонаролы все растет. Грядет новая эпоха, надвигаются войска французского короля. А юная и талантливая художница Алессандра готовится выйти замуж за мужчину гораздо старше ее. Ни о какой любви не может быть и речи. Девушку ждет золотая клетка и необходимость смириться с тайными пристрастиями мужа. Но сама Алессандра влюбляется в молодого художника, нанятого отцом для украшения семейной часовни. Эта страсть — отчаянная и безумная, нежная и прекрасная, как морская пена с полотен Боттичелли. Ей нужен только он — Художник, ее единственная и истинная любовь. Но нужна ли она ему?..



Дожденце
Венеры

САРА ДЮНАН

Любовь станет наградой
или гибелью

Сара Дюнан
Рождение Венеры

Р^{оман}



Книжный Клуб «Клуб Семейного Досуга»
2019

© Sarah Dunant, 2003
© DepositPhotos.com / Nejrpn, обложка, 2019
© Т. А. Азаркович, перевод с английского языка, 2020
© Hemiro Ltd, издание на русском языке, 2020
© Книжный Клуб «Клуб Семейного Досуга», художественное оформление, 2020

ISBN 978-617-12-7564-5 (epub)

Никакая часть данного издания не может быть скопирована или воспроизведена в любой форме без письменного разрешения издательства

Электронная версия создана по изданию:

Флоренція XV століття. Смерть Лоренцо Медичи оглушує Флоренцію, і кількість послідовників проповідника Савонароли зростає. Гряде нова доба, насувається військо французького короля. А юна й талановита художниця Алессандра готується вийти заміж за чоловіка набагато старшого за неї. Ні про яке кохання не може бути мови. На дівчину чекає золота клітка і необхідність змиритися з потаємними вподобаннями чоловіка. Аж тут сама Алессандра закохується в молодого художника, що його найняв батько для оздоблення сімейної каплиці. Ця пристрасть — відчайдушна та безумна, ніжна й прекрасна, як морська піна з полотен Боттічеллі. Їй потрібен тільки він — Художник, її єдине та істинне кохання. Але чи потрібна вона йому?..

Дюнан С.

Д96 Рождение Венеры : роман / Сара Дюнан ; пер. с англ. Т. Азаркович. — Харьков : Книжный Клуб «Клуб Семейного Досуга», 2020. — 496 с.

ISBN 978-617-12-7120-3

ISBN 978-1-84408-912-3 (англ.)

Флоренция XV века. Смерть Лоренцо Медичи оглушает Флоренцию, и число последователей проповедника Савонаролы все растет. Грядет новая эпоха, надвигаются войска французского короля. А юная и талантливая художница Алессандра готовится выйти замуж за мужчину гораздо старше ее. Ни о какой любви не может быть и речи. Девушку ждет золотая клетка и необходимость смириться с тайными пристрастиями мужа. Но сама Алессандра влюбляется в молодого художника, нанятого отцом для украшения семейной часовни. Эта страсть — отчаянная и безумная, нежная и прекрасная, как морская пена с полотен Боттичелли. Ей нужен только он — Художник, ее единственная и истинная любовь. Но нужна ли она ему?..

УДК 821.111

Публикуется при содействии “Aitken Alexander Associates Ltd” и “The Van Lear Agency LLC”

Переведено по изданию: Dunant S. The Birth of Venus / Sarah Dunant. — London : Virago Press, 2004. — 432 p.

Перевод с английского *Татьяны Азаркович*

Дизайнер обложки *Петр Вихорь*

Пролог

При жизни никто не видел ее обнаженной. Согласно правилам ордена сестрам не подобало взирать на человеческую плоть — ни на собственную, ни на чужую. В уставе подробно оговаривалось, как себя вести, чтобы не нарушать этот запрет. Под колышущимися складками ряс монахини носили длинные холщовые рубашки, и эта нижняя одежда оставалась на них всегда, даже когда они мылись, служа, таким образом, ширмой и отчасти полотенцем, а также ночной сорочкой. Эту сорочку монахини меняли раз в месяц (летом, когда в душном тосканском воздухе тела обливаются потом, — чаще), и на сей счет существовали тщательно разработанные предписания: разоблачаясь, они не должны были сводить глаз с распятия, висящего над кроватью. Если кто-нибудь, забывшись, позволял взгляду опуститься на собственное тело, то подобный грех становился достоянием исповедальни, но отнюдь не истории. Ходили слухи, что когда сестра Лукреция только вступила в монастырские стены, она отличалась не только благочестием, но и некоторой суетностью: так, поговаривали, что среди ее приношений церкви был пышно изукрашенный свадебный сундук, полный книг и рисунков, которые очень бы заинтересовали Стражу Нравов. Но в ту давнюю пору многие сестры были склонны к излишествам и даже роскоши; это уже после реформирования монастыря правила ужесточились. Ни одна из нынешних его обитательниц уже не помнила тех времен, кроме достопочтенной матушки настоятельницы, которая стала невестой Христовой в ту же пору, что и Лукреция, но давно уже отвратилась от всяких мирских соблазнов.

Что до самой сестры Лукреции, то она никогда не вспоминала вслух о своем прошлом. А в последние годы и вовсе почти не разговаривала. В благочестии ее сомневаться не приходилось. А когда ее стан согнулся, а суставы одеревенели от старости, то благочестие ее украсилось еще и скромностью. Что, пожалуй, естественно. Даже если бы она прельстилась суетой, где бы она увидела свое отражение? Ныне в монастырских стенах нет ни единого зеркала, окна лишены стекол, и

даже посреди рыбного садка устроен фонтан, который разбрызгивает вокруг себя бесконечный ливень капель, никому не давая полюбоваться собственным отражением. Разумеется, внутри даже самого праведного ордена неизбежны небольшие прегрешения, и случалось иной раз такое, что кое-кого из послушниц посмекалистее заставляли за тем, что они разглядывали себя украдкой в зрачках наставниц. Но изображения эти по большей части вскоре тускнели — по мере того, как все ближе и отчетливее представал перед теми и другими лик Господень.

Сестра Лукреция, похоже, уже несколько лет ни на кого не поднимала взгляда. Напротив, она все больше времени проводила в молитвах в своей келье, и глаза ее затуманивали старость и любовь к Богу. Недуг ее усугублялся, и, освобожденную от тяжелых послушаний, ее можно было застать в садах или на огороде, где она выращивала лекарственные травы. За неделю до смерти ее заметила там молодая послушница, сестра Кармила, которая очень встревожилась, увидев, что престарелая монахиня не сидит на скамье, а лежит, вытянувшись, на голой земле. Опухоль выпирала из-под одеяния, плат был сорван с головы, а лицо подставлено лучам предвечернего солнца. Подобное считалось вопиющим нарушением монастырских правил, но в ту пору недуг уже так глубоко укоренился в теле сестры Лукреции и страдания ее стали столь очевидны, что достопочтенная мать настоятельница не нашла в себе сил укорить бедняжку. Позже, когда настоятельница удалилась, а сестру Лукрецию унесли, Кармила принялась сплетничать громким шепотом, эхом разносившимся по трапезной: мол, непослушные волосы монахини, высвободившиеся из-под плата, серебряным нимбом сияли вокруг ее головы, а лицо озаряло счастье; вот только улыбка, игравшая у нее на губах, была скорее торжествующей, нежели умиротворенной.

В последнюю неделю, когда боль захлестывала сестру все более мощными волнами, стремясь увлечь за собой, в коридоре возле ее кельи запахло смертью, он заполнился зловонием плоти, словно разлагавшейся заживо. Опухоль к тому времени так разрослась, что не давала сестре сидеть. Приводили церковных врачей, пригласили даже одного доктора из Флоренции (обнажать тело дозволялось, если это могло помочь уменьшить страдания), но она отказалась их видеть и никому не разрешила облегчить свои муки.

Опухоль по-прежнему была скрыта от глаз. Стояло лето, и в ту пору монастырь будто варился в кипятке днем и изнывал от зноя ночью, но сестра Лукреция по-прежнему лежала под одеялом в полном облачении. Никто не знал, как давно недуг разъедал ее плоть. Монашеские одеяния нарочно кроились так, чтобы под ними совершенно невозможно было угадать изгибы и выпуклости женского тела. Пятью годами ранее, к величайшему поношению, какое только выпадало монастырю со времен прежних беспутных дней, четырнадцатилетняя послушница из Сиены скрывала все девять месяцев тягости так успешно, что ее раскусили, лишь когда сестра кухарка наткнулась на остатки поседа в углу винного погреба и, испугавшись, уж не внутренности ли это какого-нибудь полусожранного животного, стала обыскивать помещение, пока не обнаружила на дне бочки с вином для причастия крошечное распухшее тельце, придавленное мешком муки. Самой юницы и след простыл.

Месяцем ранее, после своего первого обморока на заутрене, сестра Лукреция призналась, что некоторое время назад в ее левой груди поселилась опухоль, которая, словно маленький вулкан, извергается болью, отдающейся в теле мучительными толчками. Но с самого начала она твердо заявила, что никакого вмешательства не требуется. После беседы с матушкой настоятельницей, из-за которой та опоздала на вечерню, этой темы они более не касались. В конце концов, смерть есть лишь веха на долгом пути, и в доме Божиим ее ждут не со страхом, а с надеждой.

В последние часы сестра обезумела от боли и жара. Сильнейшие травяные отвары не приносили ей ни малейшего облегчения. Если прежде она сносила страдания со стойкостью, то теперь ревела всю ночь, будто зверь, и от этого отчаянного воя в страхе пробуждались молодые монахини в соседних кельях. Сквозь вой иногда прорывались слова — то стремительным стаккато, то глухим шепотом, будто строки какой-то яростной молитвы; латынь, греческий и тосканское наречие сливались в единый и неразделимый поток.

И вот однажды утром, на заре очередного нестерпимо знойного дня, Господь наконец прибрал ее. Священник, причастив ее святых тайн, ушел. С умирающей осталась одна из сестер-сиделок, которая потом рассказывала, что в миг, когда душа отлетела от тела Лукреции,

лицо ее чудесным образом преобразилось, морщины, прорезанные болью, исчезли, кожа сделалась совсем гладкой и почти прозрачной — и вдруг показалась тень той нежной молодой монашенки, которая впервые вошла в монастырские ворота тридцать лет назад.

О смерти было объявлено на заутрене. Из-за жары (зной в последние дни стоял такой, что сливочное масло на кухне растекалось лужей) сочли за благо предать тело земле в тот же день. Монастырский обычай предписывал, чтобы каждая почившая сестра покидала грешную землю не только с незапятнанной душой, но и с чистым телом, к тому же облаченным в сверкающую белизной новую одежду — свадебное платье для невесты, соединившейся со своим Небесным Женихом. Обряжала усопших сестра Магдалина, ведавшая аптекой и раздачей снадобий (ей было дано особое позволение видеть обнаженное тело в таких скорбно-торжественных случаях); помогала ей монахиня помоложе, сестра Мария, которой со временем предстояло взять на себя это послушание. Они вместе обмывали и облачали тело, а затем помещали в часовню, где ему предстояло пролежать еще день, дабы остальные монахини, приходя туда, могли воздать покойной последнюю дань.

Однако на сей раз труды сестер не понадобились. Как выяснилось, сестра Лукреция перед смертью сделала особое распоряжение, попросив не прикасаться к ее телу и похоронить ее в той самой одежде, в которой она все эти годы служила Господу. Просьба такая была, мягко говоря, необычной (среди сестер даже начались разговоры, нельзя ли истолковать ее как непослушание), но мать настоятельница дала на это свое согласие и пресекла бы все кривотолки, если бы не полученное в то же утро известие о вспышке чумы в ближайшем селении.

От деревушки Лоро-Чуфенна монастырь отделяло расстояние, которое быстроногий конь преодолел бы без остановок, однако чума могла потягаться в резвости с иным скакуном. Первый знак явился, очевидно, тремя днями раньше, когда крестьянский мальчишка слег с жаром и по всему его телу высыпали язвы, которые тут же наполнились гноем, причиняя жгучую боль. Через два дня он умер. К тому времени зараза уже перекинулась на его младшего брата и на пекаря, жившего неподалеку. Стало известно, что умерший паренек побывал в монастыре за неделю до того: он относил туда муку и

овоци. Вот и решили, что дьявольская напасть пришла оттуда и что почившая сестра ею заразилась. Хотя у матери настоятельницы не было времени вникать в невежественные сплетни, а вычислить скорость распространения заразы она могла бы не хуже остальных, в круг ее обязанностей входило поддержание добрых отношений с деревней, от которой монастырь во многом зависел. К тому же нельзя было отрицать, что сестра Лукреция скончалась не только в муках, но и в лихорадке. Если она действительно заразилась, то, согласно широко бытующему поверью, чума будет еще долго жить в ее одежде, а потом, просочившись сквозь землю, выйдет наружу из могилы и снова начнет косить народ.

Достопочтенная матушка, памятуя о восьми сестрах, которых монастырь лишился во время предыдущего поветрия несколько лет назад, и о том, что заботиться надлежит не только о добром имени обители, но и о своих подопечных, скрепя сердце нарушила предсмертную волю Лукреции и распорядилась, чтобы снятую с ее тела одежду предали огню, а само тело омыли и вслед за тем без промедления погребли в освященной земле.

Тело сестры Лукреции лежало на постели, уже скованное смертным оцепенением. Обе сестры спешно взялись за работу, надев садовые рукавицы — единственное средство защиты от заразы, каким располагал монастырь. Они откололи плат и сдернули ткань с шеи. Пропитавшиеся потом волосы усопшей монахини прилипли к голове, но лицо осталось просветленно-безмятежным, совсем как в тот день в огороде. Они расстегнули облачение у плеч и, разрезав его спереди, совлекли прочь ткань, от смертного пота спекшуюся в корку. Особенно осторожно они стали действовать, добравшись до опухоли, где верхнее платье и нательная сорочка плотно приклеились к груди. Во время болезни прикосновение к этой части тела причиняло Лукреции такое страдание, что сестры, встречаясь с ней в монастырской галерее, сторонились, чтобы случайно не задеть ее и не исторгнуть из ее уст крик боли. И странным казалось, что она молчит, когда бесцеремонно дергают этот заскорузлый ком ткани и плоти размером с маленькую дыню, студенисто-мягкую на ощупь.

Ткань прилипла и никак не поддавалась. Наконец, сестра Магдалина, в чьих костлявых пальцах, несмотря на возраст, таилась

недюжинная сила, рванула как следует, и ткань оторвалась от тела, потянув за собой нечто, напоминавшее саму опухоль.

Старая монахиня ахнула от изумления, ощутив в своей одетой в рукавицу руке кусок мягкой плоти. Когда она снова взглянула на тело, то удивилась еще больше. В том месте, где была опухоль, кожа исцелилась: там не осталось ни раны, ни крови, ни гноя, никаких признаков язвы или нарыва. Роковой недуг сестры Лукреции оставил ее тело невредимым. Поистине, это было чудо. И если бы не нестерпимый смрад, заполнивший маленькую келью, то обе монахини упали бы на колени, восхваляя великодушные Господне. Но с отпадением опухоли смрад, как им показалось, только усилился. И потому все их внимание обратилось на саму эту пагубу.

Отделившись от тела, она лежала теперь в руке сестры Магдалины — бесформенный мягкий мешочек, из которого с одной стороны сочилась черная жижа, как от гниющих потрохов. Неужели внутренности благочестивой сестры каким-то непостижимым образом покинули ее тело и оказались в опухоли? Магдалина подавила тихий стон. Мешочек выскользнул из ее пальцев и шлепнулся на каменный пол, лопнув от удара, из него во все стороны разлетелись брызги черной свернувшейся крови. Теперь в этом месиве можно было разглядеть какие-то узнаваемые очертания: черные витки и кровавые комки, кишки, печенку — и в самом деле потроха. Хотя минуло много лет с тех пор, как старшая из сестер несла послушание на кухне, она перевидала за свой век достаточно рассеченных туш, чтобы с первого взгляда распознать, чьи перед ней останки — человека или животного.

Достопочтенная сестра Лукреция скончалась, судя по всему, не от опухоли, а от пузыря со свиной требухой, прикрепленного ею к собственному телу.

Одно это повергало в оторопь, не говоря обо всем остальном. Мария первой заметила еще кое-что необычное — вьющуюся серебристую полоску на коже покойницы, начинающуюся на плече, тоненькую, но становящуюся шире возле ключицы. Далее полоска уходила вниз, исчезая под тем, что еще оставалось от нижней сорочки. На этот раз молодая монахиня сама взялась за дело: разрешила рубашку на груди и одним рывком содрала ее с тела, полностью обнажив его.

Поначалу они никак не могли взять в толк, что за картина перед ними открылась. Кожа обнаженной Лукреции была белой — совсем

как у мраморной Мадонны в боковом алтаре часовни. Тело ее состарилось, мышцы живота и груди стали дряблыми, однако почти не обросли жиром, и потому изображение ничуть не расплылось, не утратило изначальных пропорций. Расширявшаяся возле ключицы линия, опускаясь ниже, обретала все больше зримости и телесности, превращалась в тело серебристо-зеленой змеи, нарисованной настолько правдоподобно, что, глядя, как она вьется по груди, можно было поклясться, что видишь шевеление змеиных мышц, рябью пробегающих под кожей. Дойдя до правого соска, змея обвивалась кольцом вокруг темной ареолы, а потом скользила ниже и тянулась по животу. Затем, ныряя к паху, змеиное тело сужалось, готовясь перейти в голову. Годы не пощадили некогда густую чашу на лобке, оставив там только редкие завитки волос. И потому то, что прежде открылось бы лишь при настойчивом поиске, теперь просматривалось без труда. Там, где тело змеи переходило в голову, вместо черепа гада проглядывали гораздо более мягкие, округлые очертания: это было лицо человека, мужчины. Голова запрокинута, глаза восторженно прикрыты, а язык — длинный, как у змеи, — высовывается из уст и устремляется вниз, к самому лону сестры Лукреции.

Часть первая

Завещание сестры Лукреции

Монастырь Санта-Вителла, Лоро-Чуфенна, август 1528 года

1

Теперь, оглядываясь назад, я думаю, что той весной, когда отец привез к нам с Севера молодого художника, им двигала скорее гордыня, чем доброта. Часовня в нашем палаццо была достроена, и вот уже несколько месяцев отец искал подходящие руки, дабы украсить фресками алтарную часть. Нельзя сказать, чтобы Флоренция испытывала недостаток в собственных художниках. Город был буквально пропитан запахом краски, и всюду слышался скрип перьев, подписывавших договоры. Порой по улицам нельзя было пройти, не рискуя угодить в ров или яму, оставшуюся от нескончаемой стройки. Все и каждый, у кого водились деньги, спешили прославить Бога и Республику, покровительствуя искусствам. То, что уже сейчас называют, как я слышу, Золотым Веком, тогда было просто модой. Но меня, в ту пору совсем юную, как и многих других, ослепляла эта роскошь.

Особенно хороши были церкви. Бог присутствовал в самой штукатурке, покрывавшей стены и с готовностью ожидавшей фресок — в них евангельские истории обретали плоть для всякого, имеющего глаза, чтобы видеть. Однако те, кто смотрел, видели там и еще кое-что. Да, наш Господь жил и вершил чудеса в Галилее, но его жизнь и деяния заново воссоздавались в городе Флоренция. Архангел Гавриил приносил благовест Марии под арками галереи Брунеллески[1]; три Царя-Волхва шествовали со своей свитой по тосканским просторам; грешники и больные носили флорентийское платье, а чудеса Христовы разворачивались в наших городских стенах, и в толпах очевидцев этих чудес мелькали знакомые лица: целые сонмы знатных горожан с мясистыми подбородками и крупными носами взирали с фресок на своих двойников из плоти и крови, занимавших первые ряды церковных скамей.

Мне было почти десять лет, когда Доменико Гирландайо[2] закончил свои фрески, заказанные семейством Торнабуони, в центральной капелле церкви Санта-Мария-Новелла. Я прекрасно запомнила это благодаря словам матери. «Запомни хорошенько этот

миг, Алессандра, — сказала она. — Эти росписи принесут великую славу нашему городу». И все, кто их видел, были такого же мнения.

Состояние моего отца поднималось на пару от красильных чанов, стоявших на задворках монастыря Санта-Кроче. Запах кошенили до сих пор вызывает у меня воспоминания о том, как он возвращался домой со склада в одежде, впитавшей прах раздавленных насекомых из дальних краев. К тому времени, когда у нас поселился художник, к 1492 году (я так хорошо помню дату, потому что в то лето как раз умер Лоренцо Медичи)[3], страсть флорентийцев к пышным тканям уже сделала нас богачами. Наше недавно построенное палаццо располагалось в восточной части города, между огромным собором Санта-Мария-дель-Фьоре и церковью Сант'Амброджо. Оно возвышалось своими четырьмя этажами над двумя внутренними дворами, вмещавшими маленький сад; в нижнем этаже располагалась отцовская лавка. Наружные стены палаццо украшал наш герб, и хотя изысканный вкус моей матери обуздывал жажду роскоши, обычно сопровождающую недавно нажитые деньги, все мы понимали, что пройдет немного времени, и мы тоже будем позировать для картин на евангельские темы — пусть и предназначенных лишь для наших собственных глаз.

Ночь, когда прибыл художник, врезалась в мою память четкой гравюрой. Зима. Каменные балюстрады покрыты тонким слоем изморози. Мы с сестрой, обе в ночных сорочках, сталкиваемся на лестнице и свешиваемся через перила, чтобы посмотреть, как на главный двор въедут отцовские лошади. Поздно; весь дом уже спал, но приезд отца — весомый повод для ликования, и не только по причине его благополучного возвращения, а еще и потому, что среди коробов с образцами всегда были припрятаны особые ткани — подарки для всех членов семьи.

Плаутилла вне себя от нетерпения: понятно, ведь она обручена и думает теперь только о своем приданом. Что до моих братьев, то заметно как раз их отсутствие. Несмотря на доброе имя и прекрасные ткани, какими славится наше семейство, Томмазо и Лука ведут образ жизни, подобающий скорее одичалым котам, нежели горожанам: днем спят, а ночью выходят на охоту. Наша служанка Эрила, разносчица всяческих сплетен, говорит, что это из-за них добропорядочным женщинам не следует показываться на улицах после

наступления темноты. Как бы то ни было, когда отец обнаружит, что их нет дома, разразится гроза.

Но это будет потом. А пока все мы заморожены чудесным мигом. Темноту рассеивают пылающие факелы; конюхи успокаивают фыркающих лошадей, и в морозный воздух поднимается пар из конских ноздрей. Отец уже спешил; его запыленное лицо от улыбки становится круглым, как купол; вот он устремляется к нам наверх, потом поворачивается к матери, которая спускается по лестнице ему навстречу в красном бархатном платье, тесно перехваченном на груди, с распущенными волосами, струящимися по спине, как золотая река. Всюду шум, свет и сладкое ощущение покоя. Впрочем, спокойны не все. Верхом на последней лошади сидит худощавый молодой человек, плотно закутанный в плащ, — ни дать ни взять штука ткани. Похоже, он вот-вот свалится с седла от холода и дорожной усталости.

Я помню, как конюх подошел к нему, чтобы взять поводья, — тот, вздрогнув, очнулся и снова натянул их, словно боясь нападения, так что моему отцу пришлось подойти к нему и успокоить. Я была тогда слишком поглощена своими ощущениями, чтобы догадаться, как ему тут неудобно. И я еще не слыхала о том, как не похож на наши края Север, как тамошнее солнце, пробиваясь сквозь водянистый туман, преображает все вокруг — от света, разлитого в воздухе, до света, таящегося в человеческой душе. Разумеется, я и не подозревала тогда, что он художник. Для меня он был всего лишь очередной слуга. Но мой отец с самого начала обходился с ним очень заботливо: говорил с ним негромко, помог сойти с лошади и проводил в отведенную ему комнату, выходящую на задний двор.

Позже, уже распаковывая фламандские гобелены для матери и разворачивая рулоны белоснежного батистового шитья для нас («Женщины в Ренне рано слепнут, трудясь ради красоты моих дочерей»), отец рассказывал о том, как разыскал его — сироту, росшего в монастыре на берегу северного моря, где вода угрожает суше. Его дарование рисовальщика превосходило религиозное рвение, и потому монахи отдали его в обучение к мастеру, а по возвращении юноша в знак благодарности расписал не только собственную келью, но и кельи всех остальных монахов. Именно эти росписи и произвели на моего отца такое впечатление, что он сразу же решил предложить художнику работу — создать фрески для нашей часовни. Впрочем,

следует заметить, отец мой, хоть в тканях разбирался превосходно, отнюдь не был великим знатоком искусства и, подозреваю, на сей раз руководствовался выгодой: он всегда чуял дешевизну. А сам художник? Ну, как сказал мой отец, — в монастыре для него больше не осталось нерасписанных келий, а слава Флоренции, этого нового Рима или новых Афин наших дней, без сомнений, пробудила в нем желание увидеть ее собственными глазами.

Вот как вышло, что у нас поселился художник.

На следующее утро мы отправились в церковь Сантиссима-Аннунциата, чтобы возблагодарить Господа за благополучное возвращение отца домой. Она находится по соседству с Оспедалье-дельи-Инноченти — приютом для подкидышей, куда молодые женщины относили своих незаконных чад. Ребенка клали на колесо, откуда потом его забирали монахини. Когда мы проходили мимо этого колеса, беспрестанно поворачивающегося внутрь стены, мне мерещились крики младенцев, но отец заметил, что наш город — образец великого милосердия, ибо на диком Севере есть места, где трупы новорожденных валяются на мусорных кучах или плавают вместе с другими отбросами в реках и канавах.

Мы сидели все вместе на скамьях в середине церкви. Над головами у нас висели маленькие резные корабли — приношения тех, кто спасся в кораблекрушении. Моему отцу однажды тоже довелось пережить кораблекрушение, но в ту пору он еще не был настолько богат, чтобы заказать подобное пожертвование для церкви, а в этом последнем плавании он страдал лишь от морской болезни. Отец с матерью сидели прямо, вытянувшись в струнку, — рядом с ними ощущалось, что все их помыслы обращены к безграничной милости Божией. Мы, дети, были далеки от благоговения. Ветреная Плаутилла по-прежнему поглощена мыслями о подарках, а у Томмазо и Луки такой вид, как будто они с удовольствием сейчас завалились бы в постель, хотя страх перед отцом и заставлял их держать глаза открытыми.

Когда мы вернулись домой, там все уже пропиталось запахами праздничного угощения: по лестнице из верхней кухни вниз, во дворик, тянулись клубы вкусных ароматов жареного мяса и пряных подлив. Мы сели за стол, когда гаснущий день перетек в вечер. Вначале мы поблагодарили Господа, а потом приступили к яствам: за вареным каплуном, жареным фазаном, форелью и свежими *пастами*

следовал шафранный десерт со сливочным кремом и корочкой из карамели. Все вели себя на удивление чинно. Даже Лука держал вилку, хотя у него руки так и чесались схватить ломоть хлеба и обмакнуть его в соус.

Я уже изнемогала от нетерпения при мысли о новом госте, поселившемся в нашем доме. Фламандскими художниками во Флоренции восхищались за их точность и нежную одухотворенность.

— Значит, он напишет портреты со всех нас, отец. Мы все будем ему позировать, правда?

— Конечно. Отчасти для этого он и приехал. Надеюсь, он увековечит свадебные торжества твоей сестры.

— Ага, сначала он будет рисовать меня! — Плаутилла так обрадовалась, что даже выронила изо рта на скатерть кусок сладкого пирога. — Потом Томмазо, он же старший, затем Луку, а потом Алессандру. Боже мой, Алессандра, ты к тому времени успеешь вырасти!

Лука оторвал взгляд от тарелки и расплылся в широкой ухмылке, будто услышал остроумнейшую шутку. Но я только пришла из церкви и потому была исполнена христианского милосердия ко всему семейству:

— Хорошо, если он не станет с этим слишком затягивать. Я слышала, одна из невесток в семье Торнабуони умерла родами к тому времени, когда Гирландайо снял покров с ее лица на фреске.

— Этого можешь не опасаться. Ты сначала себе мужа найди, — прошептал сидящий рядом со мной Томмазо так тихо, чтобы его колкость услышала только я.

— Что ты сказал, Томмазо? — негромко, но строго спросила мать.

Он придал своему лицу самое ангельское выражение.

— Я сказал: «Меня мучит жажда». Передай мне бутылку с вином, милая сестрица.

— С удовольствием, братец. — Я взялась за бутылку, но уже рядом с Томмазо она вдруг выскользнула из моих пальцев и, падая, забрызгала его новенький плащ.

— Ах, матушка! — вскрикнул он. — Она нарочно!

— Неправда! Она...

— Дети... дети... ваш отец устал, а вы оба чересчур шумите.

Слово «дети» подействовало на Томмазо, и он, насупившись, замолчал. В наступившей тишине чавканье Луки, который ел, не закрывая рта, казалось оглушительным. Мать нетерпеливо заерзала на стуле. Наши манеры ее явно раздражали. И если укротитель львов в городском зверинце, добиваясь послушания, прибегал к кнуту, то наша мать довела до совершенства свой взгляд. Теперь она применила это оружие к Луке, хотя тот был настолько поглощен едой, что мне пришлось пнуть его ногой под столом, чтобы завладеть его вниманием. Мы — дело ее жизни, ее дети, и над нами нужно неустанно трудиться.

— И все же, — продолжила я, когда мне показалось, что можно возобновить разговор, — мне не терпится с ним познакомиться. Ах, отец, он, наверное, так благодарен тебе за то, что ты привез его сюда! И мы все тоже. На нас как на добрых христианах лежит почетный долг позаботиться о нем и сделать так, чтобы он чувствовал себя как дома в нашем великом городе.

Отец нахмурился и обменялся быстрым взглядом с матерью. Он долго отсутствовал и, наверное, позабыл, что его младшая дочь привыкла прямодушно выкладывать все, что у нее на уме.

— Думаю, он вполне способен сам о себе позаботиться, Алессандра, — произнес он твердо.

Я уловила предостережение в его голосе, но меня было уже не остановить: слишком многое стояло на кону. Я набрала в грудь побольше воздуха.

— Я слышала, Лоренцо Великолепный так высоко ценит художника Боттичелли, что тот обедает за одним столом с ним.

Последовала короткая, но напряженная пауза. На этот раз взгляд матери осадил меня. Я опустила глаза в свою тарелку. Томмазо торжествующе усмехнулся.

И все же это правда. Сандро Боттичелли действительно сидел за одним столом с Лоренцо Медичи. А скульптор Донателло[4] имел обыкновение расхаживать по городу в алом плаще, пожалованном ему за великие заслуги перед Республикой дедом Лоренцо, Козимо. Мать часто рассказывала мне, как она, еще будучи юной девушкой, видела, как все приветствовали его, как люди расступались перед ним — хотя, возможно, причиной тому был не только его талант, но и вспыльчивый нрав.

Однако печальная правда заключалась в том, что, сколь ни изобиловала Флоренция живописцами, я ни с одним из них не была знакома. Даже при том, что в нашей семье не царили такие строгости, как в некоторых других, все равно для незамужней дочери почти не существовало возможности оказаться в обществе мужчин — любых, не говоря уж о ремесленниках. Разумеется, это не мешало мне общаться с ними мысленно.

Всем было известно, что в городе немало мастерских художников. Сам великий Лоренцо основал одну такую и заполнил ее помещения и сады скульптурами и картинами из своего собственного знаменитого собрания. Я представляла себе здание, залитое светом и заполненное запахом разноцветных красок, вкусным, как пар над супом; и пространство этого здания казалось бесконечным, как воображение самих художников.

Мои собственные рисунки были скромны: пока я лишь старательно процарапывала серебряным карандашом самшитовые дощечки или водила углем по бумаге, когда мне удавалось ее раздобыть. Большинство рисунков я уничтожила, а лучшие припрятаны в надежном месте (мне рано дали понять, что сестрино вышивание крестом удостоится больших похвал, нежели любой из моих набросков). И потому я сама не знала, способна я к рисованию или нет. Я была как Икар без крыльев, но желание летать во мне только крепло. Наверное, я всегда ждала своего Дедала.

Как видите, я была тогда совсем юной: мне не исполнилось и пятнадцати. Самые нехитрые математические подсчеты показывают, что зачали меня в пору летнего зноя — неблагоприятную для зачатия ребенка. В доме сплетничали, что мать, будучи мною брюхата, — а в ту пору город был охвачен смутой, последовавшей за заговором Пацци[5], — стала очевидицей насилия и кровопролития на улице. Однажды я подслушала разговор служанок, которые судачили, что, наверное, оттого-то я такая строптивая. А может, дело в кормилице, к которой меня отправили. По словам Томмазо, всегда неумолимо державшегося правды, если она была неприятной, потом ту женщину привлекли к суду за проституцию, — и как знать, что за соки вожделения я высосала из ее груди. Впрочем, Эрила уверяла, что это в нем говорила ревность, что так он мне мстил за тысячу своих унижений во время уроков.

Что бы ни явилось тому причиной, к четырнадцати годам я была необычным ребенком, склонным более к учению и спорам, нежели к послушанию. Мою сестру, которая была старше меня на шестнадцать месяцев и у которой год назад начались месячные, уже просватали за человека из хорошей семьи. И, несмотря на мою очевидную несговорчивость, уже шли толки о столь же блестящей партии для меня. С ростом нашего богатства возрастали и надежды моего отца на удачное замужество дочерей.

В те недели, что последовали за появлением у нас дома художника, моя мать наблюдала за мной орлиным взором: не спуская с меня глаз, запирала в классной комнате или заставляла вместе с Плаутиллой заниматься ее свадебным нарядом. А потом мать вызвали во Фьезоле, к сестре, которая только что родила чрезмерно крупного младенца и так страдала от разрывов, что нуждалась в женских советах и помощи. Уезжая, мать оставила мне строжайший наказ: я должна усердно заниматься и в точности выполнять все, чего будут требовать от меня наставники и старшая сестра. А я заверила ее, что так и будет, хотя на деле вовсе и не думала подчиняться.

Я уже знала, где его найти. Как в плохой республике, в нашем доме добродетель восхвалялась публично, а порок вознаграждался втайне: за мзду всегда можно было разжиться сплетнями. Впрочем, со мной Эрила делилась ими совершенно бескорыстно.

— ...Говорят-то только о том, что и говорить не о чем. Никто ничего не знает. Он ни с кем не водится, даже ест у себя. Хотя Мария толкует, будто видела, как он среди ночи по двору расхаживает.

Время было послеполуденное. Эрила уже распустила мне волосы и задернула занавески, готовя все для сна. Уже уходя, она обернулась на пороге комнаты и посмотрела мне в глаза.

— Мы обе прекрасно знаем, что вам запрещено навещать его, правда?

Я кивнула, устремив взгляд на деревянную резьбу изголовья: лепестков у украшающей его розы было столько же, сколько у меня в запасе маленьких обманов. Повисла пауза — хотелось думать, что Эрила сочувствовала моему непокорству.

— Через два часа я приду разбудить вас. Приятного отдыха.

Я дождалась, когда солнце окончательно усыпит весь дом, а потом проскользнула вниз по лестнице на задний двор. Зной уже раскалил

камни, и я видела, что дверь в его покои распахнута — наверное, для того, чтобы хоть какое-то дуновение ветерка проникало внутрь. Осторожно ступая по залитому солнцем двору, я тихонько прокралась к художнику.

Внутри царил мрак, в тонких лучиках дневного света виднелось кружение пылинок в воздухе. Это была унылая комнатка, где стояли только стол со стулом, ряд ведер в углу, приоткрытая дверь вела в еще более тесную спальню. Я распахнула эту дверь шире. Там было так темно, что уши приносили мне больше пользы, чем глаза. Я слышала его дыхание — глубокое и ровное. Он лежал на тюфяке у стены, вытянув руку поверх разбросанных бумаг. Единственные мужчины, каких я когда-либо видела спящими, — это мои братья, но они грубо храпели. И сама нежность этого дыхания вдруг смутила меня. У меня все внутри сжалось от этого звука, я внезапно почувствовала себя здесь лишней, чужой — а ведь это действительно так! Я повернула назад и закрыла дверь.

Теперь, после темноты спальни, наружная комната казалась ярко освещенной. На столе — небрежный ворох бумаг: зарисовки часовни, взятые из чертежей строителей, разорванные и испещренные пометками каменщиков. Сбоку висело деревянное распятие. Работа грубая, но совершенно поразительная: Христос так тяжело свисал с креста, что казалось, будто чувствуешь вес его тела, держащегося на одних гвоздях. Под распятием — кое-какие наброски, но едва я их подобрала, моим вниманием завладела противоположная стена. На ней какой-то рисунок — прямо поверх осыпающейся штукатурки. Две едва намеченные фигуры: слева — гибкий ангел с перистыми крыльями, развевающимися у него за спиной подобно дыму, а напротив него — Мадонна с неестественно длинным и тонким телом, призрачно парящая в пространстве, не касаясь ногами земли.

Я подошла ближе, чтобы лучше рассмотреть рисунок. Пол был густо усеян свечными огарками в лужицах застывшего воска. Он что — днем спит, а работает по ночам? Может быть, этим объяснялась утонченная фигура Марии — ее удлинило мерцающее пламя свечи. Однако ему хватило света на то, чтобы сделать лицо живым. У нее северные черты, а волосы, гладко зачесанные назад, обнажают широкий лоб: безупречной формы голова напоминает белое яйцо. Широко раскрытыми глазами Мадонна всматривалась в ангела, и я

чувствовала в ней некое трепетное волнение, какое бывает у ребенка, которому только что преподнесли необычный подарок, а он еще не вполне верит своему счастью. Хотя, пожалуй, ей и не следовало бы с такой беззастенчивостью глядеть на вестника Божьего — ее радость почти заразительна. Эта картина заставила меня вспомнить о моем собственном наброске сцены Благовещения, и я вспыхнула от стыда при мысли о своей неумелости.

И вдруг раздался голос — скорее рычание, чем слова. Должно быть, художник поднялся с постели совершенно бесшумно, потому что, когда я обернулась, он стоял на пороге. Что мне запомнилось в первое мгновенье? Тощая долговязая фигура, рубашка измята и изорвана. Над широким лицом — грива всклокоченных темных волос. Он показался мне выше, чем во время нашей первой встречи, а весь облик его — каким-то диковатым; после сна от него пахло потом. Я-то привыкла жить в доме, где в воздухе витают ароматы розовых и апельсиновых лепестков, а от него несло улицей. Наверное, до того мига я и вправду видела в художниках детей Божьих и потому полагала, что в них куда больше духовного, нежели плотского.

Оторопь от встречи с художником в его телесном воплощении лишила меня остатков смелости. Несколько мгновений он стоял, щурясь от света, а потом вдруг шаткой походкой приблизился ко мне и вырвал листки у меня из руки.

— Как вы смеете? — воскликнула я, когда он оттолкнул меня в сторону. — Я — дочь вашего покровителя, Паоло Чекки.

Он, похоже, не слышал. Бросился к столу, схватил остальные бумаги, непрерывно бормоча себе под нос:

— *Noli tangere... noli tangere.*[6]

Ну конечно. Кое о чем отец забыл нам поведать. Ведь наш художник рос среди монахов, и если глаза его по-прежнему трудились, то уши бездействовали.

— Я ничего не трогала! — воскликнула я в ответ. — Я просто смотрела! А вам, если вы хотите здесь прижиться, следовало бы выучиться нашему языку. Латынь — язык священников и ученых, а не живописцев.

Мое возмущение — или напор моей беглой латыни — заставил его замолчать. Он застыл, дрожа всем телом. Трудно сказать, кто из нас был в тот миг больше напуган. Я бы сразу пустилась бежать, если бы

не заметила, как из кладовой выходит служанка моей матери. Среди слуг у меня были не только союзники, но и враги, а что касается Анджелики, то ее приязнь давно уже была не на моей стороне. Если меня сейчас обнаружат, то страшно даже представить, какой переполох поднимется в доме.

— Успокойтесь, я не повредила ваши рисунки, — сказала я поспешно, боясь нового взрыва недовольства. — Меня занимает, какой станет часовня. Я просто зашла поглядеть, как продвигается ваша работа.

Он снова что-то пробормотал. Я ждала, что он повторит свои слова. Ждать пришлось долго. Наконец он поднял глаза, чтобы взглянуть на меня, и, всматриваясь в него, я впервые заметила, как он юн, — постарше меня, конечно, но ненамного, — и какая у него белая болезненная кожа. Конечно, я знала, что под чуждым небом расцветают чуждые краски. Ведь и моя Эрила, уроженка пустынных песков Северной Африки, дочерна выжжена тамошним солнцем; да и на городских рынках в те времена можно было увидеть лица с кожей самых разных оттенков — купцы устремлялись во Флоренцию отовсюду, словно мухи на мед. Однако эта белизна — совсем иная, от нее веет влажным камнем и бессолнечным небом. Хватит и одного дня под жгучим флорентийским солнцем, чтобы этот нежный покров сморщился и покраснел.

Когда он наконец заговорил, его дрожь уже улеглась, однако спокойствие далось ему нелегко.

— Я художник на службе у Бога, — сказал он с видом послушника, возносящего литанию — вызубренную, но не до конца понятую. — И мне не подобает разговаривать с женщинами.

— Это заметно, — парировала я: меня уязвило его замечание. — Потому-то, верно, вы и не умеете их изображать. — Я бросила взгляд на чересчур длинную фигуру Мадонны на стене.

Даже в полумраке я заметила, как ранили его мои слова. Мне сразу пришло в голову, что он сейчас снова набросится на меня или нарушит собственные правила и что-нибудь ответит, но он вместо этого отвернулся и, прижав к груди бумаги, поковылял обратно в дальнюю комнату. Дверь за ним захлопнулась.

— Ваша грубость не уступает вашему невежеству, мессер, — бросила я ему вдогонку, чтобы скрыть собственное смятение. — Не

знаю, чему вы там выучились у себя на Севере, но здесь, во Флоренции, художники умеют прославлять человеческое тело — подобие совершенства Божия. Поэтому вам следует хорошенько изучить искусство нашего города, прежде чем малевать что-либо на его стенах.

И, полная праведного гнева, я устремилась прочь из комнаты навстречу солнечному свету. Я так и не поняла, проник ли мой голос за дверную преграду.

2

«Семь, восемь, поворот, шаг, наклон... нет... нет, нет, Алессандра... Нет. Вы не слушаете ритм». Я ненавидела учителя танцев. Это злобный коротышка, суцая крыса, и ходил он так, будто у него что-то зажато между колен, хотя, сказать по справедливости, в танце он изображал женщину лучше меня: каждый его шаг был безупречен, а руки выразительны, как бабочки.

Мне и без того было стыдно, а тут еще, по случаю скорой свадьбы Плаутиллы, на наших уроках присутствовали Томмазо с Лукой. Нам с сестрой следовало разучить множество разных танцев, и братья служили нам партнерами, иначе одной из нас пришлось бы изображать мужчину. Мало того что я выше них ростом — еще и нескладная, будто одна нога лишняя, и со мной больше всего возни. По счастью, Лука так же неповоротлив, как и я.

— А вы, Лука, отчего просто стоите на месте? Берите ее за руку и кружите вокруг себя.

— Не могу. У нее все пальцы в чернилах. И вообще, она для меня слишком высокая, — ныл он, как будто это моя вина.

Похоже, я еще немного подросла. Если и не на самом деле, то в воображении моего брата. И ему непременно нужно сообщить об этом вслух, чтобы все посмеялись над моей неуклюжестью.

— Это неправда. Я ровно такого же роста, какого была на прошлой неделе.

— Лука прав, — встрял Томмазо, всегда готовый уколоть меня. — Она в самом деле выросла. С ней все равно что с жирафом танцевать. — Лука прыснул от смеха, и Томмазо продолжил: — Правда-правда. Смотрите, у нее даже глаза, как у жирафа, — такие темные ямы, а ресницы вокруг — как самшитовая чаща.

Сравнение пусть и несуразное, но очень забавное, так что даже учитель танцев, в обязанности которого входила, в числе прочего, и вежливость, едва удержался от смеха. Если бы речь шла не обо мне, я бы тоже расхохоталась, потому что насчет моих глаз Томмазо пошутил удачно. Конечно, все мы видели жирафа. Это было самое редкостное

животное, когда-либо обитавшее в нашем городе: его прислал в подарок великому Лоренцо султан какой-то очень далекой страны. Жирафа, как и львов, держали в зверинце позади Дворца Синьории,[7] но в праздничные дни его водили по городским монастырям, чтобы богомольные женщины могли полюбоваться столь дивным творением Господа. Наша улица лежала как раз на пути жирафа, когда его вели к обители в восточной части города, и мы не раз стояли, прильнув к окнам, и наблюдали, как он неуверенно переставляет по булыжной мостовой свои ноги-ходули. Должна признать, глаза у него и впрямь были немного похожи на мои: глубокие, темные, в самшитовой бахrome ресниц, они казались чересчур большими для его морды. И хоть я была зверь не такой диковинный и не так высока ростом, сравнение действительно оказалось верным.

Когда-то подобное оскорбление заставило бы меня расплакаться. Но с возрастом я сделалась более толстокожей. Танцы — не единственное, в чем мне не удалось добиться должного успеха. В отличие от сестры. Плаутилла умела струиться, как вода, и петь под музыку, как пташка, у меня же — при том что я переводила с латыни и греческого проворнее, чем она или братья были способны читать на этих языках, — ноги как палки и голос как у вороны. Хотя, если бы меня попросили нарисовать гаммы, я бы, честное слово, сделала это, не задумываясь: верхние ноты — сверкающая позолота, а дальше, через охристые и красные тона, спуск к пурпуру и темной синеве.

Но сегодня меня избавили от дальнейших истязаний. Едва учитель танцев продудел первые ноты своим маленьким носом — нечто среднее между звуками губной гармоник и гулом сердитой пчелы, — как раздался громовой стук в парадные двери нижнего этажа, затем послышался многоголосый гомон, а потом к нам в комнату ворвалась запыхавшаяся старая Лодовика, улыбаясь во весь рот.

— Мона Плаутилла, он уже здесь. Доставили ваш свадебный *кассоне*[8]. Вас и вашу сестру Алессандру зовут в комнату вашей матери — немедленно.

И вот тут-то жираф обрел преимущество перед газелью. Есть и в непомерном росте свои плюсы.

Все тут — хаос и смятение. Женщина впереди толпы упала навзничь, неистово простирая вперед руку, как бы ища опоры. Она полураздета, сквозь рубашку просвечивают обнаженные ноги, босая

левая ступня касается каменистой почвы. Мужчина подле нее, напротив, в полном облачении. У него необычайно красивые ноги и изукрашенный богатой вышивкой парчовый камзол. Если приглядеться внимательнее, можно заметить, что на его одежде поблескивают жемчуга. Он приблизил к ее лицу свое, руками крепко обхватил ее талию, переплетя пальцы, чтобы лучше удержать тяжесть ее падающего тела. И хотя в этой расстановке фигур чувствуется насилие, есть тут и изящество — как будто они оба танцуют. Справа — группа сбившихся в кучку женщин, одетых как знатные дамы. И в эту толпу уже просочился кое-кто из мужчин: один положил руку на платье женщины, другой настолько приблизил свои губы к ее рту, что не остается сомнений: они целуются. Ее юбка и рукава с модными прорезями — из ткани, какую делают у моего отца, с золотой нитью. Я снова посмотрела на девушку на переднем плане. Она слишком красива, чтобы быть Плаутиллой (да и неужто художник осмелился бы раздеть ее? Не может быть!), однако ее распущенные волосы светлее, чем у остальных, — за такой цвет моя сестра отдала бы несколько лет жизни! Этот мужчина, надо полагать, — Маурицио. В таком случае портрет грубо льстил его ногам.

Некоторое время никто из нас не произносил ни слова.

— Изрядная работа, — сказала моя мать, наконец нарушив молчание, негромким, но не терпящим возражений голосом. — Ваш отец останется доволен. Этот сундук прославит нашу семью.

— Ах, какой же он чудесный! — вторила ей Плаутилла, сама не своя от счастья.

Я не спешила соглашаться. Мне этот сундук показался несколько несуразным и грубоватым. Во-первых, для свадебного ларя он чересчур велик — совсем как саркофаг. И если сама живопись была не лишена изящества, то весь он был до того изукрашен — казалось, не было ни дюйма, не покрытого позолотой, — что это мешало любоваться росписью. Меня удивило, как матушка могла так обмануться, и только позже я поняла, что глаз ее уловил всё — не только красоту, но и тонкости, связанные с нашим новым положением в обществе.

— Я даже начинаю думать, не лучше ли нам было поручить роспись часовни Бартоломео ди Джованни?[9] Он гораздо опытнее, — задумчиво произнесла она.

— И гораздо больше берет за работу, — возразила я. — Отцу хотелось бы, чтобы алтарь был закончен при его жизни. Я слышала, этот ди Джованни даже ларь едва-едва успел в срок доделать. Впрочем, его почти весь расписывали ученики.

— Алессандра! — взвизгнула моя сестра.

— Да раскрой же глаза пошире, Плаутилла. Ты посмотри, сколько тут женщин — и почти все изображены в одинаковой позе. Ясно же, что это ученики отрабатывали мастерство.

Уже позднее я осознала, сколь кротко Плаутилла сносила мои выходки в пору нашего детства. Но в те дни всякое ее суждение казалось мне до того глупым или плоским, что сам Бог велел ее поддевать. А ей сам Бог велел возмущаться в ответ.

— Да как ты можешь! Как ты можешь так говорить! Ах! Да если даже это правда, я уверена — никто, кроме тебя, этого не заметил бы. Матушка права: кассоне чудесный. Мне он очень нравится. Хорошо, что здесь не история Настаджо дельи Онести[10] — я так боюсь этих собак, которые травят ту женщину. А женщины какие красавицы! И платья на них великолепные. И девушка впереди — просто чудо! Вы не согласны, матушка? Я слышала, что на каждом свадебном ларце у Бартоломео обязательно есть фигура, похожая на невесту. Мне нравится, что здесь она почти танцует.

— Да, но только она совсем не танцует. Над ней хотят учинить насилие.

— Я и без тебя это знаю, Алессандра. Но разве ты не помнишь историю про сабинянок? Их пригласили на праздник, а потом силой схватили, и они покорились своей участи. В этом же весь смысл росписи. Из женского самопожертвования родился город Рим.

У меня уже был готов ответ, но я перехватила взгляд матери. Она не выносила перебранок, даже если не на людях.

— Каков бы ни был сюжет, мне думается, можно согласиться, что художник великолепно справился с работой. Он почтил всю нашу семью. Да-да, и тебя, Алессандра. Меня удивляет, что ты до сих пор не разглядела на росписи свой собственный портрет.

Я снова уставилась на сундук:

— *Мой портрет?* Где же здесь я, по-твоему?

— Да вот же, сбоку, девушка, стоящая в сторонке и увлеченная серьезной беседой с юношей. Удивительно — своими разговорами о

философии она настроила его на более возвышенный лад!

Все это мать проговорила ровным голосом. Я наклонила голову, принимая удар. Сестра в недоумении глядела на роспись.

— Ну вот. Решено, — снова раздался голос матери, спокойный и твердый. — Это благородная и достойная работа. Остается надеяться и молиться о том, чтобы подопечный вашего отца проявил хотя бы половину такого мастерства, служа нашему семейству.

— А кстати, как поживает наш художник, матушка? — спросила я, немного помолчав. — С тех пор как он приехал, его так никто и не видел.

Мать вдруг посмотрела на меня в упор, и мне вспомнилась ее служанка, которую я заметила тогда во дворе. Неужели... Не может быть! Ведь с тех пор прошло уже несколько недель. Если бы меня застигли тогда, я, несомненно, узнала бы об этом гораздо раньше.

— Думаю, ему нелегко здесь приходится. После тишины аббатства наш город кажется ему чересчур шумным. Он перенес лихорадку. Но теперь поправился и попросил, чтобы ему позволили уделить некоторое время изучению церквей и часовен нашего города, прежде чем он продолжит работу.

Я опустила глаза, чтобы мать не заметила в них искорку любопытства.

— Он мог бы вместе с нами посещать службы, — сказала я таким тоном, как будто мне было это совершенно безразлично. — С наших передних рядов фрески лучше видны.

В отличие от некоторых семейств, которые ходили молиться только в какую-то одну церковь, мы одаряли своим вниманием все церкви города. Если отцу такое обыкновение давало возможность понаблюдать, сколько флорентийских горожан щеголяет в одежде из его новых тканей, то матери оно позволяло любоваться красотой скульптур и фресок, а также сравнивать разные проповеди. Впрочем, думаю, ни он, ни она ни за что бы в этом не признались.

— Алессандра, ты и сама прекрасно знаешь, что так делать негоже. Я уже договорилась о том, что он всюду будет ходить один.

Плаутилла, как только разговор отклонился от темы ее свадьбы, потеряла к нему всякий интерес, уселась на кровать и стала перебирать ткани всех цветов радуги. Она прикладывала их то к груди, то к бедрам и любовалась переливами.

— Ах, ах... На верхнее платье нужно взять вот эту, синюю. Да-да, непременно эту. Матушка, а вы как думаете?

Мы обернулись к Плаутилле, обе в глубине души благодарные ей за перемену темы. В самом деле, эта синяя ткань была необыкновенна — ее всю будто пронизывали металлические искры. Эта синева, пусть более бледная, напомнила мне о той ультрамариновой краске, которую наши художники брали для одевания Пресвятой Девы и которая ценой кропотливого труда добывалась из лазурита. Краситель, идущий на ткани, не такой дорогой, однако для меня он имел не меньшую ценность, и не в последнюю очередь из-за его названия: «алессандрина».

Будучи дочерью торговца тканями, я лучше многих разбиралась в подобных вещах и к тому же всегда отличалась любознательностью. Однажды, когда мне было лет пять или шесть, я упростила отца взять меня с собой туда, «откуда берутся запахи». Стояло лето — это я помню, — и мы оказались у какой-то большой церкви возле реки. Там красильщики выстроили себе настоящий бедняцкий городок — темные улочки, теснящиеся жалкие хибарки, многие лачуги нависали прямо над водой. Повсюду копошились дети — полуголые, вымазанные в грязи, перепачканные краской, которую перемешивали в чанах. Старший красильщик, бывший у отца под началом, воистину походил на дьявола: кожа у него на лице и на предплечьях почти вся полопалась — его когда-то ошпарило кипятком. Мне запомнилось, что у других прямо на коже были процарапаны рисунки, а затем в эти раны, видно, втерли краски. Расцветенные яркими узорами, эти люди походили на какое-то диковинное племя из языческих краев. И хотя именно их труд оживлял город чудесными красками, жили они в такой ужасающей бедности, какой мне не приходилось видеть нигде. Недаром монастырь Санта-Кроче, давший имя этому кварталу, был обителью францисканцев, а монахи этого ордена всегда селились среди бедняков.

Я так никогда и не узнала, какие чувства питал отец к этим людям. Он, хоть порой и сурово обходился с моими братьями, отнюдь не был жестоким человеком. В его конторских книгах значилась строка немалых расходов во имя Господа: он щедро раздавал милостыню и в недавние годы полностью оплатил два витража в нашей церкви Сант'Амброджо. Разумеется, его доходы были не меньше, чем у

других купцов. Но его работа отнюдь не состояла в помощи беднякам. В нашей великой Республике каждый сам сколачивал себе состояние благодаря милости Божьей и собственному неустанному труду, и если иным повезло меньше, что ж! — это их забота, а не его.

Должно быть, меня тогда глубоко поразило отчаянное положение тех людей, потому что, хоть я росла, восхищенно любуясь цветными тканями с нашего склада, я уже никогда не забывала о красильных чанах, дымящихся, словно адские котлы, где варят грешников. И ни разу не просила снова сводить меня туда.

Однако моей сестре, не видевшей подобных картин, ничто не мешало наслаждаться тканями, и в тот миг ее занимал только один вопрос: выгодно ли эта синева подчеркнет выпуклость ее груди? Иногда мне казалось, что когда дело дойдет до первой брачной ночи, она получит куда больше удовольствия от своей ночной рубашки, нежели от ласк своего супруга. И я задавалась вопросом — насколько это расстроит Маурицио? Я только однажды видела его. Он показался мне довольно крепким мужчиной, смешливым и сильным, но мало напоминал мыслителя. Оно и к лучшему. Что я об этом знала? По-видимому, оба друг друга вполне устраивали.

— Плаутилла! Может быть, оставим пока это? — спокойно сказала мать, забирая у нее материю и тихонько вздыхая. — Сегодня выдался такой теплый день, и солнечные лучи могли бы чудесно вызолотить тебе волосы. Почему бы тебе не взять свое вышивание и не отправиться на крышу?

Моя сестра была ошеломлена. Хотя было общеизвестно, что юные девушки частенько жарят свои головы на солнцепеке, тщетно пытаясь превратить темное в светлое, предполагалось, что их матери и не подозревают о подобных ухищрениях.

— Ну, не делай такое удивленное лицо. Раз уж ты все равно занималась бы этим, не спросив меня, то мне, пожалуй, проще дать тебе свое согласие. Да и потом, скоро у тебя времени не будет для таких пустяков.

С недавних пор мать завела привычку говорить что-нибудь в этом духе: можно было подумать, что с замужеством привычная жизнь Плаутиллы сразу пойдет прахом. Сама Плаутилла, похоже, с восторгом слушала такие предсказания, на меня же, сознаюсь, они нагоняли смертельный страх.

Плаутилла тихонько взвизгнула от радости и принялась порхать по комнате в поисках своей солнечной шляпы. Наконец найдя ее, она бесконечно долго пристраивала ее на голове, продевая распущенные волосы сквозь отверстие в середине — так, чтобы, пока лицо ее будет оставаться в тени, каждая прядка оказалась подставлена солнцу. Потом она подобрала юбки и, провожаемая нашими взглядами, умчалась прочь. Живописцу, который пожелал бы написать ее исчезновение, пришлось бы окутать ее тело шелковыми или газовыми пеленами, чтобы показать, как она поднимает ветер своими стремительными движениями: я видела, так делают многие художники. Или пририсовать ей птичьи крылья.

Мне показалось, мать загрустила, глядя на нее. Еще мгновение она сидела, не говоря ни слова, а потом повернулась ко мне, и потому я слишком поздно заметила искорку, вспыхнувшую у нее в глазах.

— Пожалуй, я тоже пойду на крышу. — Я поднялась со стула.

— Не смей меня, Алессандра. Ты же терпеть не можешь солнце. К тому же волосы у тебя чернее воронова крыла. Тебе проще их перекрасить, если уж тебе так хочется, в чем я очень сомневаюсь.

Я заметила, что ее взгляд упал на мои перепачканные чернилами пальцы, и быстро поджала их.

— И когда ты в последний раз ухаживала за своими руками? — Мой внешний вид — один из множества моих недостатков, которые больно ранят мою мать. — Нет, это просто невыносимо! Сегодня же пошлю Эрилу за снадобьем. Займись руками, прежде чем ляжешь спать, слышишь? А сейчас останься. Я хочу с тобой поговорить.

— Но, матушка...

— Останься!

Я приготовилась выслушать очередное нравоучение. В который раз? Я уже со счета сбилась. Мы все спорили и спорили, я и мама. Я чуть не умерла при рождении. Она чуть не умерла, давая мне жизнь. Только после двухдневных родовых мук меня наконец вытащили щипцами, и обе мы исходили криком. Ущерб, причиненный ее телу, лишил ее способности впредь рожать детей. А потому она сразу полюбила меня и за мою малость, и за свое утраченное чадородие, так что задолго до того, как она начала узнавать во мне черты сходства с собою, между нами возникли крепкие узы. Как-то раз я спросила ее, почему я не умерла — ведь я слышала, что младенцы часто умирают. И она ответила: «Потому что Бог пожелал сохранить тебе жизнь. И потому что Он наделил тебя любознательностью и решительным духом: они-то и заставили тебя цепляться за жизнь — во что бы то ни стало».

— Алессандра, должна тебе сообщить, что отец начал переговоры с твоими возможными женихами.

От этих слов у меня все внутри сжалось.

— Но как же... Ведь у меня даже месячные не начались!

Она нахмурилась:

— Ты уверена?

— А разве вам об этом не известно? Ведь Мария проверяет все мое белье. Уж это-то я не смогла бы утаить.

— В отличие от других вещей, — спокойно заметила мама. Я подняла взгляд, но, похоже, она не собиралась продолжать разговор на эту тему. — Алессандра, ты сама знаешь, я долгое время тебя прикрывала. Но не могу же я заниматься этим вечно.

Она произнесла это таким серьезным голосом, что чуть не напугала меня. Я взглянула на нее, надеясь, что она как-то подскажет мне, в каком русле пойдет наш разговор, но не увидела никакой подсказки.

— Ну, — сказала я обиженно, — сдается мне, что, если бы вы сами не хотели, чтобы я была такой, вы бы этого не допустили.

— Ну и что бы мы тогда делали? — мягко возразила она. — Не давали бы тебе книг, отбирали бы у тебя перья? Наказывали бы тебя? Но тебя так сильно любили с самого раннего возраста, дитя мое, что тебе бы не по нраву пришлось такое обращение. Да к тому же ты всегда была слишком упряма. В конце концов нам показалось, что проще позволить тебе учиться вместе с братьями. — Она вздохнула. Наверное, уже успела понять, что такое решение лишь добавило хлопот. — Ты так хотела учиться!

— Сомневаюсь, что братья благодарны вам за это.

— Это потому, что тебе еще нужно научиться смирению, — заметила мать, на этот раз более резким тоном. — Мы с тобой об этом уже говорили. В молодой женщине недостаток смирения сразу бросается в глаза. Лучше бы тебе проводить столько же времени за молитвой, сколько ты посвящаешь урокам.

— А вы именно так научились смирению, матушка?

Она издала короткий смешок.

— Нет, Алессандра. Просто моя родня положила конец всяким суетным соблазнам.

Мама редко рассказывала о своем детстве, но все мы знали эти истории: как дети, мальчики вместе с девочками, учились под началом отца-схоласта, приверженца новых веяний; как ее старший брат сам потом сделался выдающимся ученым, снискал милость у семьи Медичи и жил под их покровительством; и как это помогло ему удачно выдать сестер замуж за купцов, а те примирились с их необычайной образованностью, ибо к ней в качестве компенсации прилагалось щедрое приданое.

— Когда я была в твоём возрасте, иметь подобные познания в науках считалось для девушки еще менее подобающим, чем сейчас. Не взойди так высоко звезда моего брата, мне бы еще долго пришлось подыскивать себе мужа.

— Но, раз моего рождения желал сам Бог, значит, вам было суждено выйти замуж за моего отца.

— Ах, Алессандра! Ну почему ты всегда так ведешь себя?

— Как это — *так*?

— Даешь своим мыслям забегать дальше, чем нужно и чем подобает.

— Но это же логика.

— Нет, дитя мое. В том-то и дело. Никакая это не логика! Тебе чужда всякая почтительность: ты задаешь вопросы о вещах столь глубоких и укорененных в Божьей природе, что несовершенная человеческая логика бессильна понять их.

Я ничего не ответила. Буря, уже привычная мне, пройдет быстрее, если я промолчу.

— Не думаю, что тебя этому научили наставники. — Мать охнула, и я почувствовала, что она очень сердится на меня — но за что, непонятно. — Должна тебе сообщить, что Мария обнаружила рисунки в сундуке под твоей кроватью.

Ах вот в чем дело! Наверняка она наткнулась на них, перерывая мое белье в поисках запачканных кровью тряпок. Я мысленно пошарила в сундуке, пытаюсь предугадать, на что именно обрушится материнский гнев.

— Она уверена, что ты одна, без сопровождения, ходила по городу.

— Ах! Но это же невозможно. Как бы мне это удалось? Она же глаз с меня не спускает.

— Она говорит, там есть рисунки зданий, которых она никогда не видела, и изображения львов, раздирающих мальчика на площади Синьории.

Кінець безкоштовного уривку. Щоби читати далі, придбайте, будь ласка, повну версію книги.

ridmi
ТВІЙ УЛЮБЛЕНИЙ КНИЖКОВИЙ

КУПИТИ